

Александр Грин

Мрак



Александр Степанович Грин

Мрак

Аннотация

«Я никогда не находил удовольствия в так называемых «светлых явлениях», отчасти по скучнейшей их одинаковости, законченности и шаблонности, отчасти по причинам необъяснимого происхождения, лежавшим, надо полагать, в основе моей души со дня рождения. Грубое, топорное зло тоже отталкивало меня, особенно если оно преследовало какую-либо практическую, материальную цель: деньги, наслаждения, вообще – корысть. В жизни более всего нравилось мне зло обдуманное, бесцельное зло для зла, для спорта, для удовлетворения преступных инстинктов...»

Содержание

I	4
II	6

Александр Грин

Мрак

I

Я никогда не находил удовольствия в так называемых «светлых явлениях», отчасти по скучнейшей их одинаковости, законченности и шаблонности, отчасти по причинам необъяснимого происхождения, лежавшим, надо полагать, в основе моей души со дня рождения. Грубое, топорное зло тоже отталкивало меня, особенно если оно преследовало какую-либо практическую, материальную цель: деньги, наслаждения, вообще – корысть. В жизни более всего нравилось мне зло обдуманное, бесцельное зло для зла, для спорта, для удовлетворения преступных инстинктов.

Происходя из богатой, образованной и почтенной семьи, я, в силу своего положения, должен был вести обычную жизнь людей нашего круга: посещать балы, концерты, вечера, модные лекции, театры и выставки. Обстановка такого времяпрепровождения мало располагала к искренности и откровенности, и мне нельзя было ни с кем поговорить о себе, большинство, если не все мои знакомые, были порядочными лицемерами и, вероятно, прозвали бы меня чудовищем, посвяти я их в тайны своих мрачных наклонностей.

Я жил одиноко в мире жестоких грез.

Определить, объяснить, как, с какого именно времени появилось, выросло и окрепло во мне желание совершить убийство – я не мог бы, даже размышляя годами. Вид живого человека, кто бы он ни был, начал возбуждать во мне тяжкую, глухую тоску, потребность прекратить эти независящие от меня движения рук, ног, спины, шеи, эти звуки чужого голоса, дыхания, эти явления чужой жизни, тревожившие и угнетавшие мое больное внимание. Вид трупа не менее угнетал меня, но то было, кажется, ревнивое чувство, ревность к смерти, опередившей меня в данном случае.

Я опускаю подробности борьбы с собой в эти жуткие месяцы, – скажу лишь, что потребность убить стала неодолимой, я должен был уничтожить человеческое существо или всю жизнь ужасаться этим настойчивым, маниакальным стремлением. Решение созрело внезапно, как бы во сне; я вздохнул полной грудью и стал обдумывать преступление.

II

Не очень смешно это: обдумывать убийство, не зная еще кого убить, где и каким образом. Я три дня подыскивал мысленно подходящую жертву. Многие из знакомых моих не годились для этой цели, все это был народ чванный, сильный, здоровый, удачливый в жизни и в делах, словом, не принадлежащий к типу людей, погибающих тайной, насильственной смертью; в наружности их не было ничего рокового, а этого-то я и искал, ради не цели, а логичности преступления. Наконец я остановился на Рифте.

Рифт был молодой человек, болезненный, склонный к предчувствиям и меланхолии. Собою представлял он не разочарованного, а тот человеческий пустоцвет, с каким склонны возиться истеричные дамы, утверждая «избранность природы» там, где душа просто зевает от скуки и бесталанности.

Рифт любил повторять, что жизнь его трагична и что он предчувствует близкий конец. Правда, трагического в его жизни было лишь множество долгов, но он так уверил себя в горестности своего существования, что разговаривал не иначе, как вздыхая и морщась.

Лицо аскета, глаза больной овцы и волосы Рубинштейна – вот его грубый портрет.

Он любил охоту, я тоже (по ужасным причинам, уже рас-

сказанным), и мы в теплый осенний день отправились двое в горные леса Лилианы, моей родины.

К закату солнца достигли мы весьма мрачной и удивительно дикой долины, в которой я никогда не был. Я спрашивал себя: не влияние ли неких неведомых сил, что мы остановились на ночлег именно в такой местности? Ее вид наполнял душу угрюмостью, вызывая скорбные и зловещие мысли, необъяснимый трепет почувствовал я, рассматривая пейзаж. Как нельзя более был создан он для убийства или другого черного дела.

Плохая репутация мельниц, лесных постоянных дворов и каменоломен, быть может, складывалась под влиянием обстановки, толкающей к преступлению. Эта долина была ровным, каменистым скатом к обрыву пропасти. Мох, какого-то неприятно желтовато-белого цвета, покрывавший боковые холмы, и кусты терновника составляли всю растительность долины, придавая ей как бы прокаженный, проклятый вид, однотонный и отвратительный.

Вялые изгибы холмов и тучи, обложившие небо, и мертвенный последний свет запада, в соединении с огромной, дикой пустотой, с молчанием и полной уединенностью – веяли отчаянием. Именно отчаяние души, увидевшей себя преступно-свободной, выражалось этой дьявольской местностью. Я заглянул в пропасть: на глубине – высоте колокольни – стоял непроницаемый слой белого пара, скрывавшего бездну. Из пропасти несло холодом.

– Неужели мы будем ночевать здесь? – сказал Рифт. – Не очень это веселое место место не для нервных людей, – прибавил он неохотно, как бы боясь действия слов.

– Какая разница, – возразил я, – между своей спальней и таким ночлегом? Я не вижу никакой разницы.

– Вы шутите, – сказал он.

– Так же умирают в постели, как и в пустыне, – сказал я, пугаясь сказанного, смысл которого был известен мне и чужд Рифту. Он вздрогнул.

– Что это с вами? – спросил Рифт. – Ваша речь похожа на бред... вы дрожите... вы больны?

Тут он сделал некий необыкновенно жизненный, характерный для него жест: слегка стукнул ногой о ногу, как бы шаркнув. Неудержимое желание убить его поднялось во мне, но я ждал, ждал, когда мной овладеет ужас неизбежного и передастся Рифту и когда с ужасом, с тоской и криком я нападу на него инстинктивно, как кошка бросается на мышь.

Привязав лошадей к кустам, мы нарубили сколько могли терновника и зажгли костер. Я помню, что мы закусывали, говорили о городских событиях и уснули, помню также, что перед тем, как уснуть, я странным образом перестал думать об убийстве и, удивляясь этому, отложил дело.

Я спал очень крепко. Я проснулся (взглянув на часы) в середине дня. Еще лежа, я подумал, что Рифт вчера ошибся, говоря о кабанах по ту сторону гор, и захотел сказать ему,

что там нет кабанов, но, осмотревшись, увидел с безграничным удивлением, что Рифт исчез. Не было ни его, ни его ружья, ни одеяла, ни лошади. Я был один.

Ничего не понимая, я закричал, призывая Рифта, и не получил отклика. Я выстрелил несколько раз – и безрезультатно. Теряясь в предположениях, в беспокойстве о пропавшем приятеле, я объездил несколько верст в округности и не заметил даже следов копыт.

– Я мог пропустить следы, – сказал я, останавливаясь на краю пропасти с некоторым сомнением, с некоторым уклоном мысли в сторону невозможного. – Я торопился... наверное, Рифт пошутил со мной и он где-нибудь здесь поблизости. Но где?

Я не мог также не видеть, что нахожусь в очень бодром, здоровом и ясном состоянии духа. Я как бы вышел из укрепляющей ванны. Я выспался. Мои планы убийства, мои зловещие, повседневные замыслы казались теперь, хотя я вспоминал это с лукавой и рассеянной леностью, очень смешным капризом, недостойным пожатия плечами, даже воспоминания. Тем более я хотел отыскать Рифта. Я хотел воочию увидеть то, чего не сделал, в живом образе человека. Я знал теперь, что никогда не мог стать убийцей, я, джентльмен с головы до ног, сливки цивилизации, человек с лицом мыслителя и привычками сноба!

Как сказал, я стоял, будучи верхом, на краю пропасти, смотря в нее с тем недоумением, с каким потерявший что-

либо человек беспомощно уставляется взглядом на любую вещь, желая сосредоточиться для понуждения памяти. Нервность моей лошади удивила меня. Конь беспокойно переступал с ноги на ногу, прядал ушами и все время находился в состоянии сдавленного уздой кипения, его ноздри широко раздувались, и вот он оглушительно, потрясающе заржал, высоко вскинув прекрасную черную голову.

Прошло несколько изнурительных мгновений ожидания, в течение которых неподвижно совершалось во мне бурное потрясение, я слышал вихри и голоса, стоны и оглушающие удары, и неумолимое придвижение ужаса почти лишило меня сознания. Тогда из глубины пропасти, из слоя белого холодного пара, опущенного в ее расселистый зев, достигло моих ушей слабое ответное ржание, и я узнал голос лошади Рифта.

Этого было достаточно, чтобы моя воскресшая в судорогах и в болях память вернула меня к тому глухому часу ночного молчания, когда я, действуя бессознательно, душил сонного Рифта, когда тащил к пропасти труп и, бросив его в пар, сделал то же с вещами жертвы, и когда, терзаясь невыносимым страхом преследования, подвел к обрыву бедную лошадь, выпустив в нее пулю, после чего она покатилась к мертвому своему хозяину.

Вероятно, после несмертельного выстрела тело ее застряло где-то в уклоне заросшего кустами обрыва пропасти, и теперь околевашее животное отвечало призывному наверху

ржанию.

И теперь, когда освобожденная от мрака душа силилась понять, как могла она дышать этим мраком и всячески отталкивала его, я должен был завершить жизнь с неотступно звучащим из бездны ржанием и мертвым лицом Рифта перед глазами.